

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

Передышка



Марио Бенедетти

Передышка

Серия «Магистраль. Главный тренд»
Серия «Магистраль. Сиеста»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69445777

Передышка: Эксмо; Москва; 2023
ISBN 978-5-04-189595-2

Аннотация

«Плакать над бухгалтерской книгой запрещается – чернила расплывутся».

«Передышка» была написана в 1959 году, когда на Кубе победила революция и принесла ощущение грядущих перемен и в Уругвай. Поэтому маленький конторский человек Сантоме мечтает не о шинели (как гоголевский Акакий Акакиевич, а о неслыханном богатстве – о любви. Он пишет дневник не безлично каллиграфическим, а нервным, собственным почерком. Сантоме придумывает себе любовь, становящуюся явью, он разгибает спину и видит небо и других людей вокруг.

Марио Бенедетти существенно отличается от тех, кто составил ядро нового романа Латинской Америки. На фоне фейерверков мифопрозы, магического реализма, его будничная,

приглушенная, принципиально антиромантическая проза с обыденными героями и старомодным психологизмом создает ту художественную философию истории, которая является главным достижением и вкладом латиноамериканского романа в мировую культуру XX века. Марио Бенедетти создал свой вариант современного реализма.

Герой «Передышки», средний монтевидеанец, ждет пенсию, хочет забыть о цифрах и увидеть «другое небо». Нет, он никуда не бросится бежать, не взбунтуется, а пойдет в кафе, запьет горечь и раздражение чашечкой кофе. Перед нами психопатология отчужденного и обманутого человека. Круговой обман здесь определяет систему отношений между конторщиками и начальством, мужьями и женами, друзьями и знакомыми, детьми и родителями. Чистый звук человеческой драмы постоянно прерывается дребезжанием, мелодией танго о «разбитой любви», «потерянной жизни». Способен ли такой герой на что-нибудь?

Бенедетти зафиксировал «Передышкой» лишь возможность изменений.

Человек в измерении текучей жизни, притом не Человек с большой буквы, а средний человек – тот, через которого вершится история со всеми противоречиями, драмами и трагедиями. Ему Бенедетти задает вопрос нашего времени – вопрос о человеческих возможностях, о гуманизме, а следовательно – о будущем человечества. Способен сегодняшний маленький и даже мелкий человек стать человеком новым? Может он или не может соответствовать тем идеалам и требованиям, которые выдвигает наше время? Бенедетти

создает панораму исторического бытия уругвайцев и Уругвая, меняясь со своей страной и следуя ее истории.

Тема, актуальная в эпоху перемен и волнений для всех народов и стран.

Экранизация романа «Передышка» (La tregua) была номинирована на премию «Оскар» 1975 г., а также получила премию «Амаркорд» от Федерико Феллини.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

67

Марио Бенедетти

Передышка

© 2023 Fundación Mario Benedetti c/o Schavelzon Graham
Agencia Literaria www.schavelzongraham.com

© Сашина Р., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке. Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023

* * *

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

Передышка



Москва
2023

НЕОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СЛОВО МАРИО БЕНЕДЕТТИ

В начале 1985 г. в Уругвае наступила весна – не календарная, а политическая, неустойчивая, чреватая перепадами погоды, но все-таки весна. После более чем десяти лет реакционной военно-гражданской диктатуры к власти пришло избранное народом правительство, из тюрем вышли заключенные, в страну, опустошенную репрессиями (полмиллиона эмигрантов там, где общая численность населения едва достигала трех миллионов человек), потянулись изгнанники: рабочие, бывшие служащие, интеллигенция, политические деятели – все, кто в те годы рассеялся по многим странам Америки и Европы вместе с собратьями из соседних Аргентины и Чили, где также в 70-х гг. установились диктатуры. В Уругвай вернулись герои Марио Бенедетти. За три года до этих событий, находясь в эмиграции, он выпустил книгу с примечательным названием – «Весна с отколотым углом», роман о страданиях и борьбе уругвайцев, их надеждах на новую жизнь, о том, как непроста будет неминуемая весна для этих людей.

«...Прогрохотала гроза, пронеслась буря, и теперь, в тишине, мы видим поваленные деревья, развороченные крыши без антенн, обломки, мусор, много мусора. Конечно, надо начинать снова, сажать деревья, но вполне может стать-

ся, что в рассаднике нет прежних семян и саженцев. Когда строят дома, это прекрасно, однако хорошо ли будет, если архитектор по-рабски точно воспроизведет прежний план? Быть может, несравненно лучше обдумать все наново и вычертить план, учитывая все, что нам теперь нужно? Так выметем мусор по мере наших сил, ибо, как ни мети, останется много такого, чего не выметет никто из памяти и сердец», – размышляет один из героев упомянутого романа Бенедетти, который точно предугадал черты трудной уругвайской весны.

Эта замечательная способность Марио Бенедетти заглядывать вперед, чувствовать колебания и изменения социально-нравственной ситуации, формулировать проблему задолго до того, как она возникнет, – едва ли не основная особенность его писательского дара, дара писателя-реалиста, или, как говорил Карпентьер, «летописца истории» Латинской Америки, континента, пропитавшегося в 60–70-х годах запахом пороха, кровью народных движений.

Несомненна общность устремлений и исканий Бенедетти с крупнейшими современными латиноамериканскими писателями, и все же своим творческим почерком он существенно отличается от тех, кто составил ядро «нового» романа Латинской Америки, давшего свой вариант «большого» современного реализма. На фоне фейерверков мифопрозы, магического реализма, фантастики, поэзии и интеллектуальных парабол его будничная, приглушенная, принципиально

антиромантическая проза с нарочито обыденными героями, со «старомодным» психологизмом могла показаться боковой тропинкой, бегущей вдоль основного пути. Но это только на первый взгляд. Бенедетти по-своему и не менее эффективно доискивается до глубинных смыслов происходящего, создает ту художественную философию истории, которая и является главным достижением и вкладом латиноамериканского романа в мировую культуру XX века. Более того, молчаливо полемическая «прозаичность» его прозы имеет свои преимущества, свои открытия, возможно, устремленные к новым горизонтам латиноамериканской литературы – тем, что виднеются «там, за параболами».

Человек, взятый в масштабах не громогласной Истории, а истории с маленькой буквы, то есть в измерении текущей жизни, – вот к кому устремлено внимание Бенедетти, и в этом особая значимость его художественного опыта. Причем опять же не Человек с большой буквы, а «средний», «обыденный» человек – тот, собственно, через которого вершится на самом деле история со всеми своими противоречиями, драмами, трагедиями. Ему Бенедетти задает главный вопрос нашего времени – вопрос о человеческих возможностях, о гуманистическом потенциале, а следовательно, о будущем человечества. Способен сегодняшний обыденный – «средний», «маленький» и даже «мелкий» – человек стать «человеком новым»? Может он или не может соответствовать тем идеалам и требованиям, которые выдвигает наше

время?

Знаменательно и то, что Бенедетти, умеющий художественно мыслить совершенно четкими социологическими критериями, точно определяет и как бы настойчиво подчеркивает, к какой социальной среде принадлежит его обыденный герой. Это «средние» слои, служивый люд – те, кого называют мелкой буржуазией. Выбор такого героя связан у Бенедетти и с особенностями социальной структуры его страны, и с собственным происхождением из «средних» уругвайцев, однако исследование «среднего», «маленького» человека, его поведения в истории приобретает в конечном счете более общее значение. Ведь в Латинской Америке, как это показали драматические события 70-х гг. не только в Уругвае, но и, скажем, в Чили, политическое состояние «средних» слоев, находящихся между основными противоборствующими силами, в точке схождения противоречий буржуазного общества, существенно влияет на исход революции, а значит, на общенародные судьбы. А именно судьба общенародная и волнует Бенедетти – зрелого мастера, пристально, критически и даже сурово изучающего «средних» уругвайцев, но извлекающего из этого исследования не однозначную социологическую истину, а общезначимые уроки, сложный общечеловеческий опыт. Он-то и составляет в конечном счете глубинную основу широкой панорамы исторического бытия уругвайцев и Уругвая, которую воссоздал Бенедетти, меняясь вместе со своей страной и следуя ее

истории.

Начальная точка отсчета творческого пути писателя – вторая половина 50-х годов. К этому времени Бенедетти уже написал несколько книг, но все они были лишь пробой сил и поисками своей литературной «страны». Родился Марио Бенедетти в 1920 г. в городке Пасо-де-лос-Торос, отец его владел небольшой аптекой, семья жила скудно, нередко бедствовала. Вырос будущий писатель в Монтевидео, где сосредоточилась едва ли не треть населения Уругвая. Отец отдал мальчика в частный немецкий лицей, где ему в 30-х гг. пришлось почувствовать на себе нараставший дух немецкого солдафонства и расового чванства (впечатления детства отразились в ряде произведений). С 14 лет Бенедетти пришлось подрабатывать в конторе, в 1938–1941 гг. он почти все время жил в соседнем Буэнос-Айресе, где работал стенографом в маленьком издательстве. Впоследствии Бенедетти прошел через множество разнообразных учреждений, контор, которые и стали его жизненной школой. Писать он начал рано, мальчиком сочинил приключенческий роман, затем последовали стихи; в 1945 г. вышла первая поэтическая книга, потом – первый сборник рассказов, «Этим утром» (1949 г.), и первый роман, «Кто из нас» (1953 г.). В те годы Бенедетти попробовал себя во всех жанрах – как шутил один критик, разве что только не в опере.

Но только после восьми первых книг, изданных «за счет автора», Марио Бенедетти обращает на себя внимание чи-

тателя сборником стихов с необычным и вызывающе скучным названием – «Конторские стихи» (1956 г.). Книгу быстро раскупили, неизменно раскупались и ее многочисленные переиздания. Событие это тем более удивительно, что в маленьком Уругвае, где были отдельные яркие прозаики и поэты, в отличие, например, от соседней Аргентины, обычно мало интересовались национальными писателями.

Чем же привлек читателя этот сборник? Дело в том, что, как потом скажет Бенедетти, он оказался первым уругвайским поэтом, который, отбросив свойственные расхожей поэзии псевдопоэтическую метафорику, истерический псевдопафос, заговорил с читателем о том, что ему близко и знакомо по повседневной жизни, о каждодневных тяготах и заботах, да еще разговорной речью. Намеренно будничным, тускловатым голос, пониженная эмоциональность, «нейтральное» слово – то есть все то, что известно в поэзии XX века как антипоэзия. Да и сама центральная тема – конторская жизнь маленького человека... Бенедетти, проводивший рабочее время в конторах, заговорил о том, что сам перечувствовал и пережил вместе с соседями по конторским столам. При этом подчеркнем, что конторская тема имела для Уругвая особое значение.

Несколько лет спустя Бенедетти выпустил публицистическую книгу «Страна с соломенным хвостом» – размышления о судьбах уругвайской нации, ее исторических и социально-нравственных противоречиях и больших проблемах, –

где писал: «Если бы я хотел придать этой книге сатирический тон, я начал бы так: Уругвай – это единственная в мире контора, которая дослужилась до звания республики. Однако я не уверен, что такой тон подходит для разговора о самых драматических и темных сторонах нашей национальной жизни. И потому я скажу серьезно: Уругвай – это страна конторщиков. Не важно, что, кроме конторщиков, в Уругвае есть официанты кафе, батраки, портовые грузчики и бозязливые контрабандисты. Единственное, что определяет его жизнь, – это стиль мышления уругвайцев, а этот стиль конторский». Наверное, в этом определении была своя доля полемического преувеличения, но несомненно и то, что Бенедетти попал в один из самых больших нервных узлов национальной действительности.

Маленький Уругвай, зажатый между крупнейшими странами континента, Аргентиной и Бразилией, никогда не выделялся в отличие от бурных соседей ни своим экономическим, ни политическим развитием. «Наша страна – маленький уголок Америки, где нет ни нефти, ни индейцев, ни полезных ископаемых, ни вулканов, ни даже армии, вынашивающей идею государственного переворота» – так иронически охарактеризовал тогда Бенедетти стиль жизни Уругвая, аграрной страны с европеизированным населением. Мясо, шерсть, кожи шли на переработку в Монтевидео – экспортные ворота страны, однобоко ориентированной на внешний рынок. За долгие годы экономической стабильности страна

обросла множеством бюрократических учреждений, банков, мелких предприятий и контор, которые породили широкую прослойку мелких собственников, чиновников, канцеляристов и т. п. Формировался одновременно и рабочий класс, однако стиль и ритм жизни страны определяло тогда монотонное и как бы замедленное биение пульса столицы – царства «среднего» человека, мелкого люда большого города.

Бенедетти попал в точку. «Конторские стихи» стали его настоящим литературным дебютом, и с ними он родился не только как поэт, но и, хотя это звучит парадоксально, как прозаик, о чем будет сказано далее.

«Лишь они знают, существую я или нет» – так начинается одно из стихотворений, написанных от лица канцеляриста, от звонка до звонка гнущего на «них» спину над банковскими счетами, накладными, реестрами. Давно известен мировой литературе маленький человечек, утрачивающий ощущение себя как человека. «Черт бы побрал, моя рука это или не моя?» – задается вопросом этот человечек, глядя, как его рука, независимо от сознания, автоматически совершает бессмысленные операции. Однако отчуждена не только рука, но и сердце, разум. «И вот в этом моя судьба?.. Плакать над бухгалтерской книгой запрещается – чернила расплывутся». И потому с юности – мечта о пенсии как о долгожданной свободе, а фактически мечта о смерти.

Каждое из стихотворений сборника, имеющего свою внутреннюю драматургию, таило, по существу, сюжет

для рассказа. Так оно и оказалось. Если в поэзии Бенедетти впервые воссоздал атмосферу конторской жизни в особой, ностальгической тональности, как сказано в одном из стихотворений, «прогорклого танго», танца-песни, типичного для Уругвая и Аргентины, то в последующей книге – в цикле рассказов «Монтевидеанцы» – этот мир предстал развернутым в широкую панораму и продуманным до самых его основ.

И в этой последовательности – сначала стихи, затем проза – обнаружилась характерная для художественного поиска Бенедетти иерархия жанров: сначала поэзия – болезненное чувствилище литературы, наиболее чутко реагирующее на окружающую действительность, потом рассказ с его аналитическим жалом и, наконец, роман – попытка «тотальной» реконструкции социального и нравственного мира.

Сборник «Монтевидеанцы», вышедший первым изданием в 1959 г. и закрепивший популярность Бенедетти, впоследствии был оценен критикой как один из лучших образцов жанра в латиноамериканской литературе XX века. Пожалуй, в этом нет сильного преувеличения. Хотя в рассказах Бенедетти нет ни броскости, ни внешней занимательности, они берут другим – неопровержимостью художественного свидетельства, абсолютной точностью диагноза социальной болезни.

У Бенедетти были именитые предшественники, мастера в жанре рассказа и повести, – уже известные советским чита-

телям Орасио Кирога, писавший в 10–20-е гг. XX века, старший современник Бенедетти Хуан Карлос Онетти и другие. Поясняя популярность рассказа и короткой повести в Уругвае, писатель говорил: «Наша действительность мало годится для романа... Уругвай – это маленькая страна коротких историй». Речь, разумеется, идет не о том, что в Уругвае не происходит существенных событий, а о том, что определяющим началом стиля уругвайской жизни того времени являлась «короткая» – серая – конторская жизнь, исключавшая «эпическое дыхание», необходимое как воздух для настоящего романа. Да и какой уж там эпос в конторах? Онетти этот мир толкнул в сторону какой-то болезненной поэзии, мифа; миру канцеляристов и лавочников он противопоставил страдающих и мучающихся героев, надломленных, но упорных в своей вере в иной мир.

Иное дело Бенедетти, исследующий конторскую жизнь, не выходя из самой конторы. Расплывчатая «танговая» атмосфера «Конторских стихов» сгущается в сюжеты, за которыми вырисовываются очертания весьма необычной латиноамериканской страны. В типично латиноамериканских странах с большим «эпическим дыханием», тех, где есть «нефть, индейцы, военные перевороты», коренной социально-нравственный феномен, определяющий их бурную жизнь, как мы знаем это из творчества, например, знаменитого колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса или мексиканца Карлоса Фуэнтеса, – это так называемая «виоленсия», насилие в самых раз-

нообразных его формах: социальное, расовое, экономическое. У Бенедетти суть жизни формулируется очень просто и коротко: обман. Тоже насилие по-своему, но иное, «скупное», убогое, соответствующее конторской жизни «средних» уругвайцев. Иностранные державы, покупающие у Уругвая мясо и шерсть, обманывают уругвайское государство, государство обманывает предпринимателей, служащих, рабочих, предприниматели – государство, служащих и трудящихся, депутаты – избирателей, газеты – весь народ, директор конторы – чиновников, чиновник – посетителя и своего соседа по столу, муж – жену, жена – мужа, брат – брата, жених – невесту, и так до бесконечности.

Подлог, взятка, предательство, измена, шантаж, примитивное надувательство, жульничество, вранье – бесконечны жизненные вариации феномена кругового обмана. Именно об этом рассказы цикла «Монтевидеанцы», но дело не только в теме, а в ее художественном осмыслении, высвечивании каждой конкретной ситуации до социальной основы, и потому сама сюжетно-повествовательная структура рассказов предстает как бы слепком со структуры обманных социальных отношений.

По сравнению с периодом «Конторских стихов» в «Монтевидеанцах» меняется и авторская позиция. Голос Бенедетти в стихах почти сливался с голосом маленького конторского человечка, у которого вместе со страданием накапливались горечь, раздражение, злоба. Иное дело в «Монтевиде-

анцах» – писатель перерос своего героя, он понял его сущность и отстранился, чтобы взглянуть на него по-новому – с недоумением, усмешкой, скепсисом, с горьким удивлением. И действительно есть чему удивиться. Ведь отчуждение, одиночество, разобщение героев Бенедетти таковы, что ни у кого нет ближнего (одно из ключевых слов Бенедетти), есть – в том числе и среди родных по крови – только другие. Семьи – не семьи, а вариант конторы, где все обманывают и все обманываются, дом – не дом, а жилье – временное пристанище. У героя Бенедетти как бы нет корня, с места на место переносит его ветерком обмана по скользкой поверхности жизни. Это важный момент художественного мира Бенедетти – отсутствие ближнего, а значит, дома. Другой характерный момент состоит в принципиальной посредственности, радикальной серости, банальности человеческого мира «среднего» монтевидеанца. Монтевидеанец Бенедетти – это принципиально тривиальный и поверхностный человек, даже от самой крайней обиды неспособный уйти в «подполье», удариться в метафизику, воспарить к «высотам духа», как, например, герои Хуана Карлоса Онетти. Нет, герой Бенедетти никуда не бросится бежать, не взбунтуется, он пойдет в уличное кафе и запьет горечь и раздражение чашечкой кофе.

Мир, исключаяющий вдохновенную правду или даже вдохновенный обман, принципиально антипоэтический, антимузыкальный. Антимузыкальный? Нет, не совсем так. Как точ-

но заметил один критик, «в глубинном рисунке героев Бенедетти, их надежд и разочарований слышится подавленное звучание танго». Монтевидеанец выпьет чашечку кофе наедине с собой под мелодию танго, того самого «прогорклого танго», о котором Бенедетти писал в «Конторских стихах». Танго с его поэтикой «коротких» и тривиальных жизненных обманов, разочарований – жанр, в котором мелодия и слова живут в диапазоне между мелодрамой и истерикой обманутого, одинокого человека. Этот по-своему завораживающий звук танго, танговой поэзии, городского полуфольклора Буэнос-Айреса и соседнего Монтевидео, которые оспаривают право считаться его родиной, сыграл большую подспудную роль в формировании и прозы, и поэзии обеих стран. Причины этого ясны, ведь полуфольклорное танго, родившееся на бедных окраинах больших городов, – это самовыражение «окраинной» психологии маленького, ущемленного героя.

Если в «Монтевидеанцах» танго надо услышать, уловить, то в следующем значительном произведении Бенедетти – романе «Передышка» – оно зазвучало явственно, причем в контрапункте с другой, существенно иной мелодией. «Передышка» (1959 г.) принадлежала к идейно-тематическому циклу, начатому «Конторскими стихами», она несла в себе уже новое ощущение жизни. Собственно, еще ничего не происходило в Уругвае, но тот ветер перемен, который пронесся по всему континенту после победы кубинской революции 1959 года, принес предчувствие изменений. Впоследствии

Бенедетти писал: «Нас, интеллектуалов, словно сильно дернули за уши – мне пришлось заново обдумать всю жизнь, кубинская революция помогла установить мне контакт с моей собственной страной, по-иному взглянуть на Уругвай». Уже упоминавшаяся книга, «Страна с соломенным хвостом», вышедшая одновременно с «Передышкой», написана человеком с политизированным сознанием, ясно отдающим себе отчет о состоянии родной страны с ее обманной общественной системой: «Демократия в Уругвае – это просто гладкая, до глянца надраенная поверхность, лишь скорлупа, и больше ничего. Под скорлупой – разложение в большом и в малом». Именно этим ощущением зреющего кризиса проникнута «Передышка».

Истоки «Передышки» – в одном из «Конторских стихотворений», оно называется «Потом»: его герой мечтает уйти на пенсию, забыть о цифрах и увидеть «другое небо». Сюжет этот мог бы стать основой для очередной «короткой» обманной истории. Впрочем, таковой «Передышка» и является. Банальный «средний» монтевидеанец ждет пенсии как избавления, как узаконенного одиночества, а по сути дела – спешит к смерти. Перед нами психопатология отчужденного и обманутого человека. Но при всем при том Сантоме – иной, новый герой – он человек с проснувшимся самосознанием. Раньше герои Бенедетти писали только реестры, Сантоме пишет дневник, а дневник – это и есть страждущее сознание, разверстое сердце. И более того, Сантоме

наделен не только самосознанием, но и затаенными возможностями мятежа. Он, человек, сведенный к знаку, он, подобно гоголевскому Акакию Акакиевичу, «чужая», бессмысленная и лишенная индивидуальности каллиграфическая буква (не случайно его тешит бессмысленное переписывание как возможность отвлечься от бухгалтерских подсчетов и выкладок), мечтает не о шинели, а о неслыханном богатстве – о любви. Потому Сантоме, встречавшийся из «гигиенических соображений» со случайными женщинами (одна из них говорит, что у него при этом выражение лица, «словно он подшивает бумаги»), пишет дневник, и не безлично каллиграфическим, а нервным, собственным, почерком.

Сантоме придумывает себе любовь, становящуюся явью, он разгибает спину и видит небо и «других». Но это лишь передышка, призрак счастья – любимая умирает, «приходит долгожданная свобода» – пенсия, а значит, и скорая смерть. Состоялся последний обман.

Собственно, круговой обман и здесь определяет систему отношений между конторщиками и начальством, мужьями и женами, друзьями и знакомыми, детьми и родителями. Характерно, что Бенедетти, наделив своего героя самосознанием, все-таки отстранился от него. В Сантоме, лучшем из канцеляристов, жив соблазн обмана, он чувствует его в себе, постоянно ловит себя на эгоистическом рационализме по отношению к возлюбленной. Как и его соседи по конторе, он человек без корня – его дом развалился, для себя и возлюб-

ленной он снял жилье – меблированную квартиру, иллюзию дома. Как несмываемым клеймом, Сантоме мечен своей принадлежностью к обманному миру танговой мелодрамы. Бенедетти настойчиво подчеркивает тривиальность этой среды – не случайно он сказал как-то, что в «Передышке» все колеблется между истинным и банальным. «Поэтика банальности» достигает здесь максимального выражения. Чистый звук человеческой драмы постоянно прерывается каким-то дребезжанием, мелодией расхожего «прогорклого» танго о «разбитой любви», о «потерянной жизни», заунывным, с гнусавинкой, звучанием бандонеона – разновидности баяна, обязательного для танговой музыки.

На что же способен такой «дребезжащий» герой? И способен ли он на что-нибудь? Ответ на этот вопрос был за историей. Бенедетти же лишь зафиксировал «Передышкой» возможность изменений. И потому, при всем внешнем сходстве с традиционным психологическим романом «частной жизни», его роман, по сути дела, имел гораздо более далекий прицел, ибо за частной коллизией стояла коллективно-психологическая, социальная проблема национального масштаба. Сантоме говорил «я», а звучало «мы». И дело даже не в словах жениха его дочери, молодого человека из нового поколения уругвайцев, пришедшего к пониманию, что необходимы коренные перемены, но в абсолютной уверенности самого Сантоме, что дальше так продолжаться не может. «Пришло время сказать „мы“» – так писал Бенедетти в од-

ном из новых поэтических сборников первой половины 60-х годов, отразивших нараставшую политизацию его сознания.

Кризис уругвайского общества – тема его следующего романа «Спасибо за огонек». Получивший в 1963 г. первую премию на конкурсе известного барселонского издательства «Сейкс-Барраль», он был запрещен франкистской цензурой и вышел в Монтевидео только через два года, окончательно закрепив за Бенедетти славу самого читаемого национального писателя. Наверное, если могли бы, его запретили бы и в Уругвае – таким открытым вызовом всем устоям уругвайской жизни стала эта книга, портрет общества в состоянии распада, в той глубокой стадии, когда он захватывает уже его первоячейку – семью. Дом Сантоме распался и превращался в жильё по каким-то, еще самим героям не ясным, мотивам психологической несовместимости, здесь глухая жизненная вражда перерастает в осознанную идеологическую, политическую.

Три враждующих поколения: отец, сын, внук. Отец, Старик, Эдмундо Будиньо, – один из тех, на ком держится обманное общество, – владелец газеты, цинично отравляющей атмосферу страны, владелец фабрики, шантажирующий и обманывающий рабочих, политический гангстер. Сын, Рамон Будиньо, – вялый, рефлектирующий, подавленный отцом и презираемый им потомок. Наконец, Густаво – внук, левый по своим убеждениям, исполненный молодой уверенности, что общество можно и нужно изменить коренным

образом. На периферии повествования возникают и другие фигуры, решающиеся сказать Старика «нет», например, рабочий с его фабрики, журналист Ларральде, однако мир показан с точки зрения сына, «среднего» монтевидеанца, носителя, как однажды говорится в романе, «философии танго», то есть философии разочарования и бессилия. Мотив бессилия приобретает символическое значение – физическое бессилие старика, утрачивающего свой жизненный напор, но не уступающего позиций, духовное бессилие сына, осознающего выморочность мира, но неспособного его изменить.

Дом Будиньо развалился, как разваливается и весь дом уругвайцев – общество, охваченное эпидемией отчуждения и глухой вражды всех со всеми. Именно об этом говорит экспозиция романа, где Бенедетти как бы вписывает уругвайскую тему в широкий контекст всеобщей жизни. Во всемирную какофонию вплетается «дребезжащий» звук танго. Разгульную встречу соотечественников в нью-йоркском ресторане не назовешь «пиром во время чумы», скорее это банальная пирушка. Бенедетти упорно сыплет соль на самую болезненную рану: вульгарность, тривиальность, то есть, в сущности, человеческую мелкость...

Выход, который находит Рамон Будиньо, решивший убить старика, ставшего для него символом выморочной жизни, – это тоже решение в духе танговой мелодрамы, истеричный сюжет из жестокого романса. Но и здесь он терпит поражение, поднимает пистолет против отца, но «стреляет» в себя –

бросается из окна на мостовую. Эпиграф из Чезаре Павезе – «Самоубийцы – это робкие убийцы», – которым предварена одна из глав романа, подводит итог. Перед нами снова «короткая» история о людях, не способных на эпическое, так сказать, «длинное» действие. Что будет дальше? Что принесет этот болезненный огонек мятежа, когда он разгорится? Какой оттенок внесет он в пламя нарастающей борьбы, дыхание которой обжигает жизнь семейства Будиньо?

Между 1966 и 1969 гг. Бенедетти много ездит, впервые посещает Кубу, как член жюри участвует в литературном конкурсе известного центра прогрессивной латиноамериканской культуры – гаванского «Дома Америк», год живет в Европе, затем снова возвращается на Кубу, работает в «Доме Америк», основывает там Центр литературных исследований. Итогом кубинских впечатлений становится выпущенная им в Монтевидео в 1969 г. «Кубинская тетрадь», содержащая впечатления о кубинской революции, интервью, стихи. Называя кубинскую революцию одним из решающих факторов, определивших его жизненный и творческий путь, Бенедетти особенно подчеркивал, какое значение для него имела возможность поработать бок о бок с новой кубинской интеллигенцией, почувствовать атмосферу революционного общества, дух человеческой солидарности – то, чего были лишены его герои. Окончательное укоренение писателя на новых идейных, духовных основах оттачивало его политическую зоркость, углубляло понимание происходящего

на его родине.

В 1968 г. выходит новый сборник рассказов Бенедетти – «Смерть и другие неожиданности», принципиально отличающийся своими сюжетами и атмосферой от «Монтевидеанцев». Герой Бенедетти попадает в новую и пока не вполне ясную для него ситуацию – серый порядок оказывается нарушенным пугающими «неожиданностями». Миф о тихом и мирном Уругвае – «латиноамериканской Швейцарии» – рухнул. Герой рассказа «Хотели пошутить», побывав в полицейском участке, где его избивают, с удивлением узнает, что «его родина наконец стала крупной державой, раз появились пытки и прочее». Из-за зашатавшейся ширмы порядка выглянули оскалом смерти какие-то гойевские химеры. Сама повествовательная манера Бенедетти отражает новую атмосферу – ранее линейное время серой обыденности преобразуется, закручивается в тугую спираль, обнаруживает способность к обратимости, остановке, кружению, попятному движению («Мисс Забвение», «Быть может, неправимо», «Пять лет жизни»). Атмосфера насилия, жестокости, тема испытания «среднего» монтевидеанца – это отражение реальности, определяющейся кризисом «репрезентативной» демократии. «Средний» уругваец начинает защищаться – в рассказе «Звезды и ты» он впервые стреляет не в себя, а в другого – стреляет в наглого и пьяного полицейского, терроризирующего целый городок. Однако что означает эта его готовность к действию, станет ясно позднее.

В те годы в Уругвае возникает леворадикальная организация «городских партизан» – герилья «Тупамарос», социальный состав и характер политических действий которой определялся как раз «средними» монтевидеанцами – служащими, студентами, совмещавшими службу в конторах и занятия в университетских аудиториях с подпольной деятельностью. Отчаянные акции против представителей репрессивного аппарата, экспроприации, «народные тюрьмы» – все это, не принося никакой реальной пользы, лишь накаляло обстановку и провоцировало власти на все более жестокие репрессии. Одновременно возникает и подлинно народная коалиция левых сил – Широкий фронт, объединивший рабочее движение, различные революционно-демократические организации и оппозиционные партии.

В 1971 г. Марио Бенедетти вместе с группой единомышленников основывает «Движение независимых 26 марта», которое входит в Широкий фронт. Потом он скажет об этом времени: «В условиях необходимости сделать выбор между литературой и революцией я избрал революцию. Разумеется, это не означало отказа от литературы – я сделал выбор в пользу революции в интересах жизни, которая и является основой творчества». В этот период Бенедетти так формулирует свое творческое кредо: «Я пишу не для будущего читателя, а для сегодняшнего, того, что здесь, сейчас стоит за моей спиной и следит за тем, что я пишу». Один за другим выходят его публицистические сборники: «Хро-

ники 1971 года», «Землетрясение и после него» (1973), статьи о роли и ответственности писателя и литературы в условиях нарастания революционной борьбы, книга «Неожиданные слова» (1973) – сборник, собравший его политические песни, написанные в фольклорных и полуфольклорных жанрах – съелито, видалита, милонга, танго. По-новому зазвучало танго, однако мелодия его все-таки была неопределенно-смутной. В одной из песен, исполнявшихся известными уругвайскими певцами на митингах, народных манифестациях, Бенедетти писал, вглядываясь в будущее: «Времена меняются, к добру ли, к злу ли, но ничто уже не останется прежним».

В прозе этот период запечатлелся позже, уже после драматического исхода революционного кризиса, – в сборнике 1977 года «С ностальгией и без нее», рассказы которого воссоздали картину, когда призрачный, обманчивый дом «среднего» уругвайца окончательно рухнул – распались все скрепы, брат восстал на брата, отец на сына, сын на отца. Но во имя чего? Способны ли те, кто рушит старый дом, создать новый и каким он им видится?

Примечателен в этом отношении рассказ «Мелкобурж» – о молодых ребятах, студентах, полных революционного энтузиазма и решимости покончить со старым, сгнившим миром. Но как-то однобоко, убого мыслят они о жизни и культуре в сравнении с тем, кого зовут «мелкобуржем» – «сентиментальным» мальчиком, любящим поэзию Мачадо. Одна-

ко, попав в застенки полиции, он выносит все страдания, показывает образец героизма. «Мелкобурж» был написан, когда Бенедетти обдумывал и переживал драматический опыт начала 70-х годов. Тогда же он издал стихотворный роман «День рождения Хуана Анхеля» (1971), посвященный городским «партизанам» из организации «Тупамарос». Против того, как сформулировал тогда Бенедетти проблему, выдвинутую самой жизнью: чтобы открыть путь весне, нужен «новый человек», – трудно что-либо возразить, но вопрос в том, какими станут его монтевидеанцы.

Освальдо Пуэнте, вместе с товарищами прячущийся в подпольной квартире (опять ситуация бездомья, уже окончательного и всеобщего), в свой день рождения вспоминает историю превращения его, обычного «среднего» монтевидеанца (полный набор сюжетов Бенедетти: вражда в семье, жизненные обманы, конторская служба и т. п.), в революционера. Преображение произошло в 33 года, когда он, бежав от жизненной рутины, вступил в подпольную организацию и принял кличку Хуан Анхель, исполненную библейского символизма. «Теперь я другой». Какой же?

Центральная этическая проблема революции – проблема революционного насилия – осознается им как сугубо индивидуальная, психологическая, а по сути дела, индивидуалистическая коллизия: можно убивать или нельзя? Не случайна и религиозная символика для такого сознания, воспринимающего революционный кризис как эсхатологическое дей-

ство: если ты умер в убитом брате и воскрес с новой душой, то можно «перейти границу», «переступить порог», то есть можно убивать, – таково резюме философии левацкого терроризма.

Бенедетти колеблется, он чувствует, что-то тут не так, и потому для него Освальдо Пуэнте – не «новый», а «переходный» человек («пуэнте» означает «мост»). Ему ясно только одно: на «сыпучем песке» мелкой буржуазии не заложишь фундамента нового дома. В свете дальнейшей эволюции его мысли финал романа приобретает неожиданный символический смысл. Обнаруженные полицией, подпольщики бегут из своего укрытия по туннелям городской канализации. Спуск в «экуменическую, национальную клоаку», в «подсознание большого города» означает погружение в «грязь» общества во имя его очищения. Но путь ли это революции – опускаться в клоаку подсознания, если жизнь открыто бурлит на улицах и взывает к разуму?..

В 1973 г. начался заключительный акт драмы уругвайской революции. К этому времени власти сумели раскрыть подпольную сеть городской герильи, провести облавы и аресты, чтобы затем нанести удар и по организованному демократическому движению. В стране объявляется чрезвычайное положение, распускается парламент, ставятся вне закона профсоюзы и Широкий фронт, начинаются массовые аресты коммунистов, демократов. Вне закона оказывается и культура – среди полумиллиона эмигрантов и большинства наиболее

значительных писателей и других деятелей культуры. После нескольких месяцев заключения страну покидает Хуан Карлос Онетти, вынуждены уехать Марио Бенедетти, Альфредо Гравина, Эдуардо Галеано и многие другие. После скитаний по ряду латиноамериканских стран, откуда его неизменно депортируют, Марио Бенедетти уезжает на Кубу, где вновь работает в «Доме Америк».

Неистребимость освободительных идей в условиях, когда «победа осталась в будущем», как писал Марио Бенедетти, превратила аргентинскую, чилийскую, уругвайскую «культуру в изгнании» в новую «культуру освобождения», отмеченную той зрелостью, что дается тяжелыми испытаниями. Она по-своему подводила черту под определенным периодом истории латиноамериканской революции. Эмиграция была не только горьким хлебом изгнания, но и временем анализа пройденного, поиска ошибок и обдумывания новых путей. Обостренное ощущение личной причастности к тому, что произошло в Уругвае, ответственности за судьбы страны наложило особый отпечаток на поэзию, прозу и публицистику Бенедетти второй половины 70-х годов. Подвел итоги роман «Весна с отколотым углом» (1982 г.) – книга, отличающаяся суровой трезвостью мысли, бескомпромиссной требовательностью к себе и к своему давнему герою, переоценкой коренной проблемы «нового человека».

Перед нами следующий акт драмы «средних» уругвайцев, пришедших в революцию. Собственно, это как бы продол-

женный сюжет стихотворного романа «День рождения Хуана Анхеля». Главный герой «Весны с отколотым углом» продолжает судьбу Освальдо Пуэнте – как и тысячи других уругвайцев, попадает после переворота в тюрьму. Хотя писатель не уточняет, к какой политической организации принадлежали Сантьяго, живущие в эмиграции его жена Грасиела, друг Роландо и другие, по всем приметам видно, что речь идет о городских «партизанах». Над страной пронеслась буря, она смела старый дом, разметала людей, теперь все они окончательно бездомны, одни живут в казенном жилье – в тюрьме, другие ютятся по чужим углам в эмиграции. Тема дома, о котором размышляет отец Сантьяго дон Рафаэль, также живущий в эмиграции, приобретает обобщенный смысл: думая о доме и бездомье, они думают о родине, об общем доме уругвайцев, о том пути, который они прошли, о своем поражении.

Писатель неоднозначно относится к своим героям. Сама форма романа, вносящего вклад в богатый каталог новых романских форм, предложенный латиноамериканской литературой, имеет содержательное значение. Внутренние монологи героев писатель перемежает автобиографическими заметками, размышлениями, воспоминаниями о годах революционного кризиса и эмиграции, как бы вводя тем самым себя в историю персонажей, а их приобщая к своей судьбе. Судьба автора едина с судьбами героев, однако есть у него и иная точка зрения, критическая – с позиций уроков истории. Раз-

деляя с ними драму, писатель берет на себя ответственность и судить их.

Сантьяго, Грасиела, Роландо, безусловно, для него герои – каждый из них мужественно переносит все испытания, каждый из них остается верным идеалам новой нравственности, которым они принесли присягу, вступив на путь революции. И в то же время все они, безусловно, антигерои, ибо каждый из них перешел те опасные «границы», те «пороги», о которых размышлял герой предыдущего романа. Причем Сантьяго перешел «последний порог». Застигнутый полицией на подпольной квартире, вроде той, в которой прятался Освальдо Пуэнте, он убивает своего брата, полицейского агента. «В нашей борьбе нет ни дома, ни брата», – резюмирует Сантьяго. Оказывается, есть и дом, и брат.

Тему ближнего писатель доводит до предела: Сантьяго убил своего двоюродного брата (давняя тема писателя – развал семейных связей, вражда братьев). Бенедетти не вкладывает никакого очевидного философского смысла в понятие «брат», однако, предельно обострив конфликт (двоюродный брат еще и садист, истязатель революционеров), он ставит перед читателем сложнейшую социально-нравственную проблему, порождаемую революционной действительностью: каковы сущность и пределы «революционного насилия». Прямых формулировок и оценок событий писатель не дает, да и вообще он не особенно выделяет эту тему, более того, как бы прячет ее среди прочих, заставляя читателя

самостоятельно осознать ее коренной смысл и судить героев без подсказок. А судить здесь не просто. Вроде бы на первый взгляд Сантьяго прав – что же он, собственно, мог сделать в такой ситуации? Но что-то его постоянно точит, да и мы сами, оправдав его сначала, ощущаем потом, что суд не закончен. Вот и тюрьма уже позади, Сантьяго на свободе, под прошлым подведена черта. Подведена ли? Чуть он задремлет, ему во сне является брат в образе того мальчика, с которым он когда-то играл в детстве. И этот «кровавый мальчик» будет у него перед глазами до конца жизни. Отец Сантьяго, единственный, кого он посвящает в случившееся, фактически отказывается его оправдать. Он «почти» не понимает сына. Конечно, такие события, революция, борьба... Но почему же оправдания нет? А дело в том, что Сантьяго, соратник героя из романа «День рождения Хуана Анхеля», решившего, что он имеет право убивать, совершает не «революционное насилие», а просто-напросто убийство. Причем убийство это Бенедетти, верный своей философии «среднего», «мелкого» человека, трактует как самый жестокий, последний обман. Сантьяго осознает, что убил брата обманым способом, воспользовавшись замешательством взаимного узнавания. Он обманул, как всегда обманывали «средние» монтевидеанцы, но здесь обманут уже не отдельный человек, а предан гуманистический смысл революции. Нравственный надлом Сантьяго – это не индивидуальная коллизия, а человеческий крах индивидуалистической левацкой

философии «вседозволенности», потерпевшей прежде крах политический.

Маноло, их бывший друг, идеолог революции «без выбора средств», для которого человек – это другой, избежал тюрьмы и преспокойно устроился пережидать время в тихой, мирной Швеции. Он обманул всех. Те, кто не утратил человечности, страдают, хотя психология обманной жизни еще не вытравлена из их сознания. Сантьяго в тюрьме гадает, обманет его жена с другим или нет – обман происходит. Грасиела и Роландо полюбили друг друга, оба мучаются от того, что обманывают, как бы убивают Сантьяго, томящегося в тюрьме. Но они все-таки наносят ему смертельный удар, да еще в спину, обманным способом – решив не сообщать об этом «в его же интересах». Оба они обманывают и маленькую дочку Сантьяго и Грасиелы. Все переступили «пороги».

Снова звучит танго обманной жизни «средних» монтевидеанцев, танго одинокого, эгоистичного, отчужденного человека. «Весна с отколотым углом» в полном смысле мелодрама. Весь роман пронизан цитатами из танго, танго поет в тюрьме Сантьяго, «танговая философия» целиком определяет образ Роландо, типичного «среднего» монтевидеанца в варианте провинциального уругвайского «плейбоя», разбивателя сердец. Став революционером, он пытается подняться над трясинной «среднего» человека, но неизменно обрушивается в нее. Дребезжащая, надтреснутая мелодия

танго определяет сам характер происходящей драмы обмана, общую тональность романа, который, если «перевести» его название на танговый язык, мог бы называться «обманутая весна», «обманутые надежды», «утраченные грезы» или как-нибудь в этом роде... Бенедетти упорно подчеркивает принадлежность героев к тривиальному танговому миру эгоизма, мелкой расчетливости, посредственности чувств. Сантьяго, оказывается, под пытками «молчал по расчету» – чтобы самому спастись, ибо тот, кто заговорит, пропал, убийство полицейского-брата он скрывает. Грасиела вульгарна, Роландо – едва ли не воплощение танговой пошлости. Дон Рафаэль, который, казалось бы, воплощает авторскую точку зрения, тоже танговый герой с обманами (отношение к жене, матери Сантьяго).

Так что же, снова «короткая» история обмана, и ничего больше? Нет, это иная история. Помимо танго, в романе звучит и иная мелодия – чистая мелодия «Весны» из цикла «Времена года» Вивальди, классическая мелодия гуманистической нравственности, отвергающая «третьесортную человечность» переступивших «пороги». Это любимая мелодия матери Сантьяго, которая таит в себе новые для героев Бенедетти резервы человечности. Возможно ли рождение новой гармонии из столкновения двух нравственных стихий – танговой и классической? Разумеется, нет. Для новой жизни нужна «другая речь», а значит, другая мелодия. Какая?

Никто из героев Бенедетти этого не знает. Назидательная история о любви Клаудии и Анхеля, выдержавшей испытания тюрьмой и эмиграцией, еще ничего не определяет. Нужен новый человек, тогда будет и новая мелодия, тогда будет новый дом, где будут жить ближние, – вот проблема, которую заново и по-новому ставит Бенедетти. Писатель оставляет финал открытым: Сантьяго, выпущенный из тюрьмы, идет навстречу ожидающим его дочке, отцу, Грасиеле, Роландо. Что будет дальше? Финал «короткой», банальной истории обмана или начало «длинной» истории становления новых людей через муки рождения нового сознания. Мы не знаем этого, не знает этого и писатель. Но он и не отказывает им в праве на весну, в возможности стать новыми людьми. Ведь в его «средних» монтевидеанцах изменилось что-то очень существенное. Пройдя через новые и самые суровые обманы, они обрели то, чего раньше у них не было, – растревоженную, заболевшую совесть. И это касается не только Сантьяго, но и Роландо. Ведь он напевает танго одинокого человека как бы машинально, а думает не только о себе, но и о ближних, он мучается другими. Заболевшая совесть – это и есть ощущение ближнего, ответственности за общий дом, за судьбы революции, которая призвана не смести его, а перестроить так, чтобы в нем могли жить все. Это знак понимания того, что нужен другой путь. Новый путь не ясен, но не случайно же Сантьяго думает о том различии, которое обнаруживают в своем поведении в революционной ситуа-

ции «средние» монтевидеанцы и те, кого он называет «пролета», – рабочие, страдавшие рядом с ним в соседних камерах. Там тоже пели танго – а как же иначе, ведь они тоже монтевидеанцы! – но, возможно, другое танго. Невольно приходят на память стихи известного аргентинского поэта Рауля Гонсалеса Туньона «Улица танго», где он противопоставлял дребезжащему танго одиночки «фабричное танго» рабочих, «настоящее танго», которое «стучит в грудь народа». Значит, может быть иным танговый мир!

Есть и другой итог художественного поиска Бенедетти. Это сама родившаяся из «приглушенного» тангового мира «средних» уругвайцев идея «нового человека» по-уругвайски, а возможно, и вообще по-латиноамерикански. Особенность ее в том, что она принципиально противостоит всякой парадной и громогласной – романтизированной – концепции «нового человека». Весь художественный мир Бенедетти молчаливо противопоставляет ей полемическую идею обыденного «нового человека» – не с большой, а с маленькой буквы, человека, взятого в измерении исторической повседневности, в пропорциях реальной жизни, то есть приближенного к человеческой обыденности. Как совместить новую меру гуманистического с обыденным, то есть обычным человеком, не ущемив в нем человека? – подобный вопрос в той или иной формулировке встает перед литературой там, где история подводит ее к этому рубежу. Ответы на него всегда мечены специфической историей той или иной страны.

То же и у Бенедетти, который, исходя из опыта пристально-го и сурового изучения своих героев, приглашает нас вновь задуматься над этой сложнейшей проблемой XX века, когда социально-духовная ломка, влекущая человечество в будущее, стала повседневностью.

Новый мир для человека и новый человек в новом мире – таков идеал Марио Бенедетти, прошедшего большой путь с того времени, когда он смотрел на жизнь глазами своих соседей по конторскому столу, до сегодняшнего дня. Движение и надежда – вот, пожалуй, две решающие черты его творческого мышления. С готовностью меняться связана и явственно ощущаемая неокончателность художественных решений, присущих последней книге, – это не «недоделки», а конструктивная черта его мира, принципиально противостоящая всякому «последнему» слову и решению, которые остаются за историей.

*Правая моя рука,
Словно ласточка, легка,
Левая моя рука,
Словно кипарис, крепка.
И мысль живая трепещет
В черепе мертвом моем.*

Висенте Уидобро

Понедельник, 11 февраля

До пенсии мне осталось шесть месяцев и двадцать четыре дня. Лет пять уже, наверное, пишу я этот дневник, веду

приходо-расходную книгу моей жизни. Но если начистоту – разве так уж необходим мне отдых? Нет, говорю я сам себе, не отдых мне нужен, а возможность заниматься любимым делом. Каким же, к примеру? Может, в саду работать? Занятие приятное, активный отдых, но ведь то хорошо по воскресеньям, чтобы нарушить сидячий образ жизни и еще (по секрету) – попытаться спастись от грозящего в недалеком будущем артрита. Если же каждый день – боюсь, не выдержу. Тогда, вероятно, гитара? Вот это, я думаю, мне бы подошло. Да только очень уж оно нудно – в сорок девять лет заниматься сольфеджио. Писательством заняться? У меня, кажется, могло бы неплохо получиться: по крайней мере письма мои всем обычно нравятся. Ну а зачем? Стоит лишь представить себе издательскую аннотацию о «заслуживающих внимания достоинствах нашего автора, который в скором времени отпразднует свое пятидесятилетие» – от одного этого тошнить начинает. Я действительно до сих пор чувствую себя наивным и непосредственным (то есть обладаю всеми отрицательными свойствами молодости и не имею почти ни одного из ее достоинств), а это, разумеется, еще не дает мне права свою наивность и непосредственность выставлять напоказ. У меня была двоюродная сестра – старая дева; приготовит, бывало, сладкое блюдо и всем демонстрирует с грустной такой детской улыбкой: улыбка эта словно бы прилипла к ее физиономии с давних пор, с тех времен, когда она старалась показать товар лицом жениху-мотоциклисту; он потом

разбился на одном из наших многочисленных «смертельных серпантинов». Пятидесятитрехлетняя моя кузина одевалась всегда вполне прилично, по возрасту; и в этом, и во всем остальном тоже была рассудительна и сдержанна; одна только улыбка не вязалась со всем ее обликом – подобная улыбка хороша в двадцать лет, когда губы свежие, щеки розовые, а ноги крепкие. Смешной кузина моя, правда, не казалась, потому что на лице ее была написана еще и доброта, а только слишком уж чувствительно оно получалось. Вон сколько наговорил, а ведь всего лишь одно хотел сказать: не желаю выставлять напоказ свои чувства.

Пятница, 15 февраля

Чтобы как-то терпеть пребывание в конторе, приходится заставлять себя не думать о том, что свобода близка. Иначе пальцы сводит, и круглые буквы, которыми мне положено выписывать названия основных рубрик, получаются ломаными и некрасивыми. Круглый почерк – одно из высших моих достоинств как служащего. К тому же должен признаться, что выводить некоторые буквы доставляет мне истинное удовольствие, заглавное М, например, или строчное b, тут я даже позволяю себе некоторую оригинальность. Работа механическая, однообразная мне не так тяжела: составляешь, к примеру, контракт, такой же, какой составлял уже тысячу раз, сводишь баланс и убеждаешься, что все в порядке, не надо разыскивать, где не сходится. Подобная работа ме-

ня не утомляет, потому что тут есть возможность думать о другом и даже (почему не признаться себе самому?) еще и мечтать. Я словно бы распадаюсь на две части, существую как два человека, разных, ничуть не похожих, совершенно не зависящих один от другого: один – настоящий специалист, изучил досконально, до тонкости все трудности и заковыки своей профессии и всегда твердо знает, что к чему; другой же – буйный мечтатель, страстный и беспомощный, неудачник, который, однако, стремился, стремится и вечно будет стремиться к счастью; думает он о своем, не замечает, как бежит по бумаге его перо, и ему все равно, что выводить синими чернилами, которые месяцев через восемь почернеют.

Самое невыносимое в моей работе вовсе не однообразие; напротив, нестерпимо всякое новое дело, какое-нибудь неожиданное задание от этой самой призрачной Дирекции, скрывающейся за актами, распоряжениями и рождественскими премиями, требование срочно дать какую-либо справку, анализ состояния дел или предварительный подсчет ресурсов. Приходится выходить из привычного ритма, обе мои половины принуждены делать одно и то же, я не могу думать, о чем хочу, и вот тогда-то усталость наваливается на плечи, давит затылок, словно именно там проходит кое-как склеенный шов. Что мне за дело до приблизительной суммы прибылей по графе «Болты и поршни» во втором квартале за предпоследний отчетный период? Какая мне

польза от эффективных мер по снижению общих расходов?
Сегодня удачный день: только рутина.

Понедельник, 18 февраля

Никто из моих детей не похож на меня. Во-первых, все они гораздо энергичнее, решительнее, не привыкли сомневаться ни в чем. Эстебан – самый раздражительный. Я до сих пор так и не могу понять, кто, собственно, его раздражает, но раздражен он всегда, в этом нет сомнения. Меня он как будто уважает, а впрочем, кто его разберет. Хаиме я люблю, кажется, больше всех, хотя редко нам удается с ним понять друг друга. Он, по-моему, и добрый, и умный, только как будто не совсем честный. И ясно, что между ним и мною – стена. Иногда он словно бы ненавидит меня, а иногда вроде как восхищается. Бланка по крайней мере хоть в одном на меня похожа: она тоже неудачница и тоже стремится к счастью. В остальном же дочь постоянно и чересчур ревниво оберегает свою личную жизнь, никогда со мной не поделится, не расскажет, какие у нее трудности. Большую часть времени Бланка проводит дома и, наверное, страдает – ведь ей приходится убирать за нами, готовить, стирать. В спорах с братьями она доходит иногда почти до истерики, но умеет смирять себя, да и их тоже. Может быть, в глубине души дети даже и любят друг друга, но любовь между братьями и сестрами всегда несет в себе элемент взаимного раздражения, рождаемого привычкой. Нет, не похожи

они на меня. Даже и лицом. У Эстебана и у Бланки глаза Исабели. У Хаиме – ее лоб и ее рот. Что бы подумала Исабель, если бы увидела их сейчас, озабоченных, энергичных, взрослых? Впрочем, есть у меня вопрос и похлеще: что подумал бы я, если бы увидел сейчас Исабель? Смерть – омерзительная штука, для тех, кто остался в этом мире. Главным образом для тех, кто остался. Я должен бы, кажется, гордиться – остался вдовцом с тремя детьми и сумел справиться. Но я не горжусь, я устал. Гордишься, когда тебе двадцать или тридцать. Я должен был справиться, чтобы избежать неумолимого презрения общества, которое оно прибегает специально для бездушных отцов. Выхода не оставалось, вот я и справился. Только слишком уж мало все это от меня зависело, потому и трудно мне радоваться.

Вторник, 19 февраля

К четырем часам я ощутил вдруг нестерпимую пустоту. Пришлось снять рабочий люстриновый пиджак и сказать в отделе кадров, что мне надо пойти в Республиканский банк, договориться насчет перечисления. Вранье, конечно. Просто я больше не мог глядеть на стену против моего письменного стола; жуткая стена – всю ее закрывает немыслимый календарь на февраль, посвященный Гойе. Гойя в нашей старой конторе по импорту деталей автомашин! Не знаю, чем бы это кончилось, если бы я остался и продолжал созерцать как дурак этот календарь. Я, навер-

ное, закричал бы, а может, начался бы обычный приступ аллергии, и я стал бы чихать без передышки; но скорее всего, я просто принялся бы заполнять девственно чистые страницы приходо-расходной книги. Ибо мне известно по опыту, что состояние, близкое к нервному срыву, отнюдь не всегда приводит к таковому. Гораздо чаще дело кончается самым банальным смирением; знаешь, что выхода нет, смиряешься и молча терпишь многообразный и оскорбительный гнет обстоятельств. Тем не менее мне приятно убеждать себя, что не следует позволять себе срывы, что надо держаться, что опасно терять равновесие. И тогда я выбегаю из конторы, вот как сегодня, ибо яростно жажду свежего воздуха, простора и бог весть чего еще. Впрочем, большей частью я все не рвусь в заоблачные дали, а довольствуюсь малым: отправляюсь в кафе, сажусь у окна и смотрю на стройные ноги проходящих женщин.

Я убедился, что в рабочие часы город выглядит совсем по-иному. Мне хорошо знаком Монтевидео служащих, подчиненных определенному расписанию: они входят в свои учреждения в половине девятого, выходят оттуда в двенадцать, возвращаются в половине третьего и окончательно уходят в семь. Я много раз видел и давно знаю их лица, искаженные, потные, их спотыкающуюся походку. Но есть и другой город: роскошные дамы, свежие, только что после купанья, появляются на улицах в середине дня, благоухающие, надменные, самоуверенные и беззаботные; маменькины сынки, встаю-

щие в полдень, в шесть выходят на улицу, сверкая безукоризненной белизной импортных водолазок; старики взбираются в автобусы, свершают жалкую свою увеселительную прогулку – не выходя на конечной остановке, едут до таможни и обратно, обводя старый город воскрешающим взглядом, полным тоски о прошлом; молодые матери, все вечера проводящие дома, с виноватыми лицами входят в кино на сеанс в пятнадцать тридцать; няньки на чем свет стоит поносят своих хозяек, а мухи тем временем поедают младенцев; и наконец, пенсионеры и прочий нудный народ в надежде заслужить райские кущи бросают на площади крошки голубям. С этими я знаком мало, во всяком случае, пока что. Слишком уж удобно устроились они в жизни, в то время как я схожу с ума, глядя на февральский календарь, посвященный Гойе.

Четверг, 21 февраля

Нынче днем, когда я шел из конторы, меня остановил на улице пьяный. Правительство он не ругал, не говорил, что мы с ним братья, вообще не затронул ни одной из многочисленных принятых у пьянчужек тем. Станный какой-то пьяный, и глаза у него блестели по-особому. Взял меня под руку, крепко прижался плечом и говорит: «Знаешь, что с тобой делается? Ты никуда не идешь». Другой прохожий взглянул на меня с веселым сочувствием, даже подмигнул понимающе. А я вот уже четыре часа не могу успокоиться; кажется,

я и в самом деле никуда не иду и только сейчас об этом догадался.

Пятница, 22 февраля

Наверное, когда я выйду на пенсию, я перестану вести дневник; в моей жизни будет ведь еще меньше событий, а чувствовать себя опустошенным, да вдобавок оставлять тому письменное доказательство, просто невыносимо. Самое лучшее для пенсионера, мне кажется, – отдаться безделью, некоей неподвижной дремоте, чтобы нервы, мускулы, энергия постепенно ослабевали, привыкали умирать. Но нет. Бывают минуты, когда я надеюсь и верю, что пенсионная моя жизнь будет наполненной, богатой, будет последним шансом найти себя. А если так, то и в самом деле не стоит бросать дневник.

Суббота, 23 февраля

Сегодня обедал в центре один. После обеда иду по Мерседес, и вдруг налетает на меня какой-то тип в коричневом костюме. Что-то бормочет, вроде как здоровается. Я поглядел, видимо, с любопытством, потому что тип остановился и нерешительно протянул руку. Лицо его показалось мне знакомым. словно бы карикатура на какого-то человека, с которым я часто встречался прежде. Я пожал протянутую руку, стал извиняться, давая понять, что нахожусь в недоумении. «Мартин Сантоме?» – спросил он, обнажив в улыб-

ке редкие зубы. Без сомнения, я – Мартин Сантоме, однако растерянность моя нисколько не уменьшилась. «Улицу Брандсен помнишь?» Ну не очень-то хорошо помню. Тридцать лет прошло, а я не могу похвалиться отличной памятью. Да, конечно, до женитьбы я жил на улице Брандсен, но даже если бы меня стали колотить палками, я и тогда не смог бы сказать, как выглядел наш дом, сколько на нем балконов и кто жил по соседству. «А кафе на улице Дефенса тоже забыл?» Вот теперь да, туман немного рассеялся, на какой-то миг я увидел огромный живот галисийца Альвареса и его широченный пояс. «А, помню, помню!» – воскликнул я, сияя. «Ну так вот, а я – Марио Вигнале». Марио Вигнале? Не помню, хоть убей, не помню. Однако признаться смелости не хватило. Он так, казалось, радовался встрече... Я сказал, что да, что конечно, прошу прощения, у меня отвратительная память на лица, на прошлой неделе я встретил своего двоюродного брата и не узнал (вранье). Разумеется, по случаю встречи следовало выпить чашечку кофе, так что суббота моя сиеста пошла прахом. Беседа тянулась два часа с четвертью. Он упорно припоминал подробности, он хотел во что бы то ни стало убедить меня, что играл какую-то роль в моей жизни: «Я даже помню, какую твою мать готовила яичницу с артишоками. Объеденье. Я всегда норовил зайти к вам в пол-одиннадцатого, чтоб к столу пригласили». И захохотал громогласно. «Всегда?» – спросил я, все еще исполненный недоверия. Тут он устыдился: «Да ладно, ну, мо-

жет, три раза или четыре». А тогда какова же во всем этом доля правды? «Как мать твоя себя чувствует?» – «Умерла пятнадцать лет назад». – «Черт побери! А отец?» – «Умер два года назад, в Такуарембо. Он жил у тети Леонор». – «Наверное, совсем уже был старый». Разумеется, отец был старый. Господи боже мой, что за канитель! В конце концов он придумал более толковый вопрос: «Слушай, а ты тогда женился на Исабели?» – «Да. У меня трое детей». Я стремился сократить диалог. А у него – пятеро. Какое счастье. «А как Исабель поживает? Все такая же красотка?» «Умерла», – сказал я с самым бесстрастным видом, на какой только был способен. Слово «умерла» прозвучало как выстрел, и он – что не так уж плохо – растерялся. Поспешно допил третью чашку кофе и тотчас же взглянул на часы. Это что-то вроде условного рефлекса – стоит сообщить о чьей-либо смерти, человек обязательно в ту же минуту глядит на часы.

Воскресенье, 24 февраля

Ничего особенного. После встречи с Вигнале я стал мучительно вспоминать Исабель. Не то чтобы я восстанавливал ее образ по семейным анекдотам, старым фотографиям, не то чтобы искал сходства с ней в лицах Эстебана или Бланки. Я знаю об Исабели все, мне не нужна ничья помощь, я сам хочу вспомнить во всех подробностях ее черты, увидеть ее перед собой, как вижу сейчас в зеркале свое лицо. И не получается. Я знаю, что глаза у Исабели зеленые, но не могу

ощутить на себе их взгляд.

Понедельник, 25 февраля

Я мало вижусь со своими детьми. Часы, свободные от работы, у нас не всегда совпадают, еще реже совпадают наши планы и интересы. Дети ведут себя по отношению ко мне почтительно, но при этом скрытны до ужаса, так что, похоже, почтительны они всего лишь из чувства долга. Эстебан, например, постоянно сдерживается, старается не спорить со мной. Может быть, сказывается неизбежный разрыв между поколениями, а может, мне стоило бы попытаться найти с ними общий язык? Вообще же они, на мой взгляд, вовсе не пасуют перед жизнью, а скорее не доверяют ей; и потом, они гораздо целеустремленнее, чем я был в их годы.

Сегодня мы ужинали все вместе. Давно уж, месяца два, наверное, не собирались мы за семейным столом. Я спросил шутливым тоном, какой нынче праздник. Ответа не последовало. Только Бланка взглянула на меня с улыбкой, как бы желая показать, что понимает мои добрые намерения. Торжественное молчание нарушилось, по моим наблюдениям, всего лишь раз или два. Хаиме сказал, что суп недосолен. «Вон соль, возле твоей правой руки, в десяти сантиметрах, – отвечала Бланка и прибавила язвительно: – Подать тебе?» Суп недосолен. Верно, недосолен, но разве это так уж важно? Эстебан сообщил, что со следующего квартала нам на восемнадцать песо повысят плату за квартиру. Платим мы все сооб-

ща, так что ничего страшного. Хаиме развернул газету. Если человек, сидя за столом со своей семьей, читает газету, он оскорбляет присутствующих. Так я ему и сказал. Хаиме отложил газету, но ничего от этого не изменилось. Сын сидел отчужденный, отрешенный. Я стал рассказывать о встрече с Вигнале, стараясь, чтоб было посмешнее, чтобы ужин наш как-то оживился. Но Хаиме спросил: «Что за Вигнале?» – «Марио Вигнале». – «Такой усатый, с лысинкой?» – «Он самый». – «Знаю я его. Хорош гусь, – сказал Хаиме, – дружок Феррейры. Хапуга страшный». В глубине души я рад, что Вигнале такая дрянь, значит, можно со спокойной совестью от него отделаться. Но тут Бланка спросила: «Он что, маму вспоминал?» По-моему, Хаиме хотел что-то сказать, он даже открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Счастливым, – продолжала Бланка, – я вот ее совсем не помню». «А я помню», – сказал Эстебан. Как он ее помнит? Как я, то есть помнит чьи-то воспоминания о ней, или же просто видит ее, как мы видим в зеркале свое лицо? Да возможно ли это, ему ведь было тогда всего четыре года, неужели он видит ее, а я, помнящий столько ночей, столько ночей, столько ночей, не вижу, не могу? Мы любили друг друга в темноте. Вот в чем причина. Конечно. Руки мои помнят те ночи, помнят ее тело. Ну а днем? Днем ведь было светло. Я приходил домой усталый, озабоченный, а может быть, и обозленный неудачами недели, месяца.

Вечно подсчитывали мы расходы. И денег всегда не хва-

тало. Может быть, слишком подолгу глядели мы на цифры – поступление, общий итог, сальдо, – и не оставалось времени взглянуть друг на друга. Там, где она сейчас, если она есть где-нибудь, как она вспоминает меня? И, в конце концов, так ли уж это важно – вспоминать? «Иногда я чувствую себя несчастной просто оттого, что сама не знаю, чего мне надо», – пробормотала Бланка, раскладывая по тарелкам персики в сахарном сиропе. Каждому досталось по три с половиной.

Среда, 27 февраля

Сегодня в конторе появились семеро новых служащих: четверо мужчин и три женщины. Физиономии испуганные, на старых работников поглядывают с почтительной завистью. Мне дали двух молокососов (одному восемнадцать, другому двадцать два) и девушку двадцати четырех лет. Так что теперь я настоящий шеф: целых шесть человек у меня под началом. И среди них впервые – женщина. Я никогда не доверяю им при работе с цифрами. Есть и еще одно неудобство: в периоды временного нездоровья и даже незадолго до него те женщины, что обычно сообразительны, становятся бестолковыми, а те, что обычно бестолковы, делаются совсем дурочками. Наши новички, кажется, неплохие ребята. Тот, которому восемнадцать, мне нравится меньше. Лицо у него женственное, нежное, а взгляд убегающий и в то же время льстивый. Второй же вечно растрепан, зато

мордашка у него славная, и, судя по всему, он – пока что, во всяком случае, – хочет работать. Девушка, кажется, трудится не слишком охотно, но хотя бы понимает, когда ей объясняешь что-либо; вдобавок у нее широкий лоб и большой рот, а мне такие лица нравятся. Зовут новых сотрудников Альфредо Сантини, Родольфо Сиерра и Лаура Авельянеда. Мальчикам я поручу каталоги товаров, а девушка будет помогать мне в подсчетах реализации.

Четверг, 28 февраля

Сегодня вечером разговаривал с Бланкой и словно впервые узнал ее. Мы остались после ужина вдвоем. Я читал газету, она раскладывала пасьянс. И вдруг застыла, неподвижная, держа в поднятой руке карту; взгляд ее был одновременно и растерянным и печальным. Я наблюдал за ней в течение нескольких секунд и наконец спросил, о чем она задумалась. Тут Бланка словно очнулась, взглянула на меня и вдруг не выдержала – в отчаянии закрыла руками лицо, будто пряталась, чтобы никто не поглумился над ее слезами. Когда я вижу плачущую женщину, я всегда чувствую себя беспомощным, неуклюжим. Прихожу в ужас и не знаю, как помочь. На этот раз, поддавшись естественному порыву, я встал, подошел к Бланке и, не говоря ни слова, стал гладить ее по голове. Дочь стала постепенно затихать, плечи вздрагивали все реже. Наконец отняла руки от лица. Я достал платок, чистым уголком начал вытирать ей глаза, нос. В эту ми-

нугу Бланка вовсе не походила на двадцатитрехлетнюю женщину: передо мной сидела девочка, маленькая девочка в глубоком горе – то ли кукла у нее разбилась, то ли в зоопарк ее не взяли. Я спросил: «Тебе плохо?» Она ответила: «Да». «Почему?» – спросил я, и она сказала: «Не знаю». Я не слишком удивился. Я сам нередко чувствую себя несчастным безо всякого повода. Но наперекор самому себе я все же сказал: «Нет, должно же быть что-то. Люди не плачут без причины». Тогда она заговорила невнятно, охваченная внезапной жаждой излить душу: «Мне страшно, я чувствую – время идет, а я не делаю ничего, и ничего не происходит, ничто меня не волнует по-настоящему. Я смотрю на Эстебана, на Хаиме и вижу: они тоже несчастливы. Иногда, ты только не сердись, папа, я смотрю и на тебя и думаю: не хотела бы я дожить до пятидесяти лет и быть такой, как ты, – спокойной, уравновешенной, понимаешь, мне кажется, ты просто жалкий, бессильный, а у меня, я чувствую, много сил, но я не знаю, куда их деть, что с ними делать. Я вижу: ты смирился, ты стал бесцветным, и прихожу в ужас, потому что знаю – ты не бесцветный. Во всяком случае, не был бесцветный». Я отвечал (что другое мог я сказать ей?): «Ты права, уходи от нас, из нашего мира, я с радостью слышу, как ты кричишь, протестуешь, мне кажется, будто я слышу свой собственный голос из давних лет». Она улыбнулась и сказала, что я очень хороший, и обняла меня за шею, как в прежние времена. Со всем еще девочка.

Пятница, 1 марта

Управляющий вызвал пятерых заведующих отделами. В течение сорока пяти минут он говорил о низкой производительности труда наших служащих. Дирекция поручила ему следить за работой персонала, и он не намерен впредь допускать, чтобы из-за нашего небрежения (с каким удовольствием он четко произнес слово «небрежение») его репутация пострадала без всяких на то оснований. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня... и так далее, и так далее.

Что он имеет в виду, говоря о низкой производительности труда? Я по крайней мере могу утверждать: мои люди работают. И не одни только новички, а и старые служащие тоже. Конечно, Мендес читает детективные романы: ловко пристраивает книгу в средний ящик письменного стола, а в правой руке все время держит наготове ручку на случай появления кого-либо из начальства. Это правда. Муньос, когда его посылают в Налоговый отдел, пользуется случаем и заходит минут на двадцать в пивную, передохнуть немного и выпить кружку пива. И это правда. А Робледо, отправляясь в уборную (всегда точно в четверть одиннадцатого), прячет под куртку какой-нибудь иллюстрированный журнал или спортивную страницу. Это тоже правда. Но правда и то, что работа у нас всегда выполняется как следует, что в часы, когда дело не ждет и пневмопочта непрерывно приносит

банковские документы, все работают быстро, дружно, буд-то спортивная команда. Каждый в своей области знает все до тонкости, я полностью на них полагаюсь и не сомневаюсь, что все делается как надо.

В кого метил управляющий на самом деле, я прекрасно понимаю. Экспедиция работает через пень-колоду, она просто не выполняет своего назначения. Проповедь управляющего относится к Суаресу, но для чего же было вызывать нас всех? Почему мы обязаны отвечать за Суареса, если только он один и виноват? Дело, разумеется, в том, что управляющему, как и всем нам, известно, что Суарес спит с дочкой генерального директора. Она недурна, эта Лидия Вальверде.

Суббота, 2 марта

Нынче ночью, после тридцатилетнего перерыва, снова видел во сне тех, в капюшонах. Четыре года мне было, а может, и меньше, мучились со мной – никак я не хотел картофельное пюре есть. И вот бабушка придумала воистину оригинальный способ, чтобы заставить меня проглотить все без возражений. Наденет, бывало, черные очки, длиннющий дядюшкин плащ, капюшон накинёт на голову, подойдет в таком виде снаружи к окну и постучит. У меня душа в пятки уходила. А служанка, мать, тетка – все хором кричат: «Дон Поликарпо пришел!» Доном Поликарпо называлось чудовище, которое наказывает тех детей, что не хотят есть. Оцепенев от ужаса, я собирал последние силы и, с невыносимой

быстротой двигая челюстями, старался как можно скорее покончить с огромной порцией безвкусного пюре. Бабушкин метод устраивал всех. Помянут дона Поликарпо – и будто кнопку нажали какую-то волшебную. В конце концов это сделалось всеобщей забавой. Если приходила гостья, ее специально вели в мою комнату поглядеть, как я трясусь от ужаса – ну разве не смешно? Удивительно, до чего жестоки бывают люди, сами того не замечая. Ведь страх охватывал меня не только в такие минуты, были еще и ночи, долгие ночи, наполненные молчаливыми существами в капюшонах, странными, жуткими. Я всегда видел их только со спины, одно за другим возникали они из густого тумана, каждое ждало своей очереди, чтобы вступить в мой страх. Никогда не говорили они ни слова, только шли, тяжело переваливаясь, бесконечной чередой, и серые плащи волочились за ними, все одинаковые, все похожие на дядюшкин плащ. Любопытно: во сне было не так страшно, как наяву. Постепенно, с годами, страх превращался в какое-то странное наслаждение. Будто в гипнозе, следил я, закрыв глаза, за завораживающим шествием. Когда снилось что-то другое, я смутно сознавал во сне, что хотел бы увидеть их. И вот однажды они явились в последний раз. Прошли один за другим, покачиваясь, молча, и растаяли, как всегда. С тех пор в течение многих лет во сне я испытывал тоску, какое-то болезненное чувство ожидания. Много раз напряженно старался увидеть их, но лишь клубился туман, да изредка удавалось ощутить при-

косновение того давнишнего страха. И только. Потом я потерял последнюю надежду, и как-то само собой получилось, что начал рассказывать знакомым несложный сюжет своего сна. И наконец вовсе забыл о нем. До сегодняшней ночи. Сегодня, посреди сна, скорее вульгарного, нежели грешного, все вдруг исчезло, за клубился туман, и из тумана стали выходить они. Я испытал ужас и невыразимое блаженство. И знаю: даже сейчас, если немного напрячься, можно опять почувствовать то же, хоть и с меньшей силой. Все те же, вечные, неизменные, в капюшонах, они шли из моего детства, шли и покачивались, шли и покачивались, и вдруг свершилось нечто небывалое. Они повернулись, все разом, на один только миг, и у каждого было лицо моей бабушки.

Вторник, 12 марта

Как приятно иметь толковую сотрудницу. Сегодня я решил испытать Авельянеду и объяснил ей сразу все ее обязанности. Я говорил, а она что-то записывала. И когда я кончил, сказала: «Видите ли, сеньор, мне кажется, я поняла довольно хорошо, но в некоторых вопросах еще не совсем разобралась». Не совсем разобралась в некоторых вопросах... Мендесу, который занимался этим делом до нее, понадобилось не менее четырех лет, чтобы разобраться... Потом я усадил ее за стол справа от моего. И время от времени на нее посматривал. Ноги красивые. Работает еще не машинально и потому утомляется. Кроме того, нервничает, волнуется.

Видимо, стесняется немного, бедняжка, потому что я – начальство. Обращается ко мне «сеньор Сантоме» и при этом часто-часто моргает. Красавицей ее не назовешь. Улыбка, правда, приятная. И на том спасибо.

Среда, 13 марта

Сегодня днем, когда я вернулся из центра, Хаиме с Эстебаном ссорились на кухне. Я расслышал только, как Эстебан крикнул что-то о «твоих вонючих дружках». Услыхав мои шаги, оба тотчас утихли, сделали вид, будто просто разговаривают. Однако глаза Эстебана горели, а Хаиме все поджимал губы. «Что случилось?» – спросил я. Хаиме пожал плечами, а второй сказал: «Не твое дело». До чего же мне хотелось изо всех сил двинуть ему в зубы! Неужто это мой сын – какое жесткое лицо, никто и ничто не смягчит его. Не мое дело. Я открыл холодильник, взял бутылку молока, масло. Я чувствовал себя жалким, униженным... Невозможно, невозможно! Сын сказал мне: «Не твое дело», а я преспокойно выслушал, ничего не ответил, ничего не сделал. Я налил себе полный стакан. Невозможно, невозможно, чтобы он так кричал на меня, я должен так кричать на него, но я не кричу. Не мое дело. С каждым глотком все сильнее стучало в висках. Я вдруг повернулся, схватил его за руку: «Не смей грубить отцу, слышишь? Не смей!» Это следовало сказать сразу, в ту же минуту, теперь же, конечно, вышло ужасно глупо. Рука у Эстебана твердая, словно стальная. Или свинцо-

вая. Ныло в затылке, но я все-таки поднял голову и посмотрел ему в глаза. Это все, на что я оказался способен. Нет, он нисколько не испугался. Просто сбросил мою руку, раздул ноздри и спросил: «Когда ты, наконец, повзрослеешь?» И вышел, хлопнув дверью. Я повернулся к Хаиме; надо думать, я выглядел не слишком спокойным. Хаиме по-прежнему стоял, прислонившись к стене. И вдруг улыбнулся: «Ну и злой же ты, старик, ну и злой!» И все. Как ни странно, мой гнев мгновенно остыл. «Так ведь и брат твой тоже...» – проговорил я неуверенно. «Не тронь ты его, – отвечал Хаиме, – все равно тут никто из нас ничем не поможет».

Пятница, 15 марта

Марио Вигнале явился ко мне в контору. Зовет на следующей неделе к себе, говорит, что отыскал старые фотографии всей нашей компании. Отчего, спрашивается, он их не принес, идиот несчастный? Фотографии, значит, должны послужить мне наградой, если я соглашусь. Я согласился. Кого не влечет собственное прошлое?

Суббота, 16 марта

Нынче утром новенький – Сантини – вздумал вдруг откровенничать со мной. Не знаю, что-то такое, видимо, есть в моем лице, располагающее к душевному разговору. Не в первый уже раз происходит со мной такое: человек начинает поглядывать, улыбаться, а то станет вдруг губами

дергать, того и гляди разрыдается; далее следует разговор по душам. И, признаться откровенно, многие из этих душ отнюдь не приводят меня в восторг. Трудно поверить, с каким удовольствием люди бесстыдно выворачиваются наизнанку, каким таинственным тоном выкладывают о себе всю подноготную.

«Я ведь, представляете, сеньор? Я сирота», – сообщил Сантини для начала, дабы я сразу зарыдал от жалости. «Очень приятно, а я – вдовец», – отвечал я с поклоном, надеясь сразу же пресечь его наглые заигрывания. Однако мое вдовство растрогало его значительно меньше, чем собственное сиротство.

«У меня сестричка есть, представляете?» Он стоял возле моего стола и слабыми тонкими пальцами барабанил по переплету книги доходов и расходов. «Вы не могли бы оставить в покое книгу?» – крикнул я; он перестал стучать и только улыбнулся кротко. На руке у него браслет – золотая цепочка с медалькой. «Моей сестричке семнадцать лет, представляете?» Это его «представляете?» напоминает тик. «Да что вы говорите? И хорошенькая?» Я защищался отчаянно, ибо знал – сейчас он отбросит всякую видимость приличий, плотина прорвется, и я начну захлебываться и тонуть в подробностях его частной жизни. «Вы не желаете разговаривать со мной всерьез». Сантини поджал губы и, разобиженный, отправился к своему столу. Работает он не очень-то споро. С отчетом за февраль провозился два часа лишних.

Воскресенье, 17 марта

Если я когда-нибудь покончу с собой, так именно в воскресенье. Это самый унылый, самый противный день. Думаешь поспать подольше, хотя бы до девяти или до десяти, но в половине седьмого просыпаешься и больше уже глаз не смыкаешь. Боюсь и подумать, что же я стану делать, когда вся жизнь превратится в одно сплошное воскресенье? Кто знает, может, я и привыкну тогда просыпаться в десять часов. Отправился обедать в центр, так как дети на конец недели уехали, каждый со своей компанией. Не хотелось за-просто, как оно положено, беседовать с официантом о жаре и о туристах. Через два столика от меня сидел человек, такой же одинокий, как я. Грозно нахмурился, он яростно разрывал булочку на куски. Я взглянул на него два или три раза; случайно глаза наши встретились. Во взгляде его я увидел ненависть. Что увидел он в моем? Так, наверное, всегда бывает – мы, одинокие, ужасно не любим друг друга. А может, мы оба и в самом деле несимпатичные?

Я вернулся домой, лег отдохнуть, а встал с тяжелой головой и в дурном настроении. Выпил несколько чашек мате¹, разозлился, что он горький. Оделся и снова отправился в центр. На этот раз я вошел в кафе; мне удалось сесть

¹ Распространенный в Латинской Америке тонизирующий напиток, приготовленный из измельченных листьев дерева, которое также называется мате. – *Здесь и далее прим. перев.*

за столик возле окна. За час с четвертью мимо прошли ровно тридцать пять интересных женщин. Я развлекался подсчетами: что мне больше всего понравилось в каждой из них. Вел запись на бумажной салфетке. Результат получился следующий: лицо – 2; волосы – 4; бюст – 6; ноги – 8; зад – 15. Зад – абсолютный чемпион.

Понедельник, 18 марта

Вчера Эстебан возвратился в двенадцать, Хаиме – в половине первого, Бланка – в час. Я слышал каждого, ловил шорохи, шаги, шепот. Кажется, Хаиме был немного пьян. Во всяком случае, он натыкался на мебель и в ванной вода шумела чуть ли не полчаса. Развратничает именно Эстебан, он ведь никогда не пьет. Когда вернулась Бланка, Эстебан сказал ей что-то из своей комнаты, она ответила – пусть не суется в чужие дела. Потом все стихло. Три часа тишины. Проклятая бессонница всегда мучает меня субботними и воскресными ночами. Что же выходит, на пенсии я совсем перестану спать?

Сегодня утром говорил только с Бланкой. Мне не нравится, что она возвращается так поздно, сказал я. Как раз Бланка никогда не грубит мне, и вовсе не стоило на нее ворчать. Но кроме всего прочего, это же мой долг, отцовский, и материнский тоже. Приходится быть одновременно и отцом и матерью, а я, кажется, ни то ни другое. Я сам почувствовал, что зашел слишком далеко, когда услышал собственный голос,

спрашивавший наставническим тоном: «Что ты делала? Где была?» А она намазывает маслом тост и говорит спокойно: «Почему ты считаешь своим долгом изображать сурового отца? Ведь ни ты, ни я не сомневаемся в том, что любим друг друга, и в том, что я не делаю ничего дурного». Я был разбит наголову. Однако попытался хоть как-то поддержать свое достоинство: «Все зависит от того, что считать дурным».

Вторник, 19 марта

Целый день проработал с Авельянедой. Искали, где сводный баланс не сходится. Самое нудное занятие. Нашли в конце концов две ошибки – в одном месте на восемнадцать сотых, в другом – на двадцать пять. Бедняжка Авельянеда еще не втянулась по-настоящему. От чисто механической работы устает точно так же, как от такой, где надо думать и самостоятельно искать решение. Я же настолько привык к проверке сводного баланса, что иногда даже предпочитаю эту работу всякой другой. Сегодня, например, пока она выпевала цифры, а я ставил галочки, я развлекался тем, что подсчитывал родинки у нее на левой руке. Они у нее двух видов: пять крошечных точек и три пятнышка побольше, из которых одно – припухлое. Когда она кончила выпевать цифры за ноябрь, я сказал, просто чтоб посмотреть, как она будет реагировать: «Вам следовало бы выжечь эту родинку. Большею частью с ними ничего не случается, но в одном случае из ста может возникнуть опасность». Она покраснела, не знала, куда

спрятать руку. Сказала: «Благодарю вас, сеньор» – и в ужасном смущении стала диктовать дальше. Дошли до января, теперь читал я, а она ставила галочки. И вдруг я почувствовал: происходит что-то странное; я поднял глаза. Она смотрела на мою руку. Искала родинки? Может быть. Я улыбнулся, и тут она снова до смерти сконфузилась. Бедненькая Авельянеда. Не знает она, что я – сама корректность и никогда в жизни не позволю себе ни малейшей вольности со своей сотрудницей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.